

---

---

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ

---

---

ЭСТЕТИКА  
И ЛИТЕРАТУРНАЯ  
КРИТИКА



МОСКВА  
«ИСКУССТВО»  
1984

**Вяземский П. А.**  
В 99 Эстетика и литературная критика /Сост., вступ.  
статья и коммент. Л. В. Дерюгиной.— М.: Искусство,  
1984.—458 с.—(История эстетики в памятниках и  
документах).

В сборник вошли литературно-критические и эстетические статьи и мемуарно-биографические очерки П. А. Вяземского /1792—1878/, главы из его монографии о Фонвизине, фрагменты из записных книжек и писем. Наибольшее внимание уделяется соотношению литературы и общественной жизни, национальному своеобразию литературы и искусства, борьбе литературных направлений первой половины XIX века. Большая часть материалов в советское время переиздается впервые.

• 0302060000-82  
В \_\_\_\_\_ 10-84  
025(01)-84

ББК 83.3Р1  
8Р1

---

## МИЦКЕВИЧ О ПУШКИНЕ

---

### I

Мицкевич, хотя и блудный брат, хотя и не возвратившийся под кров родной, так что не удалось нам угостить его упитанным и примирительным тельцом, все же остается братом нашим: он литвин. К тому же по высокому поэтическому дарованию он и без того сродни нам и всем образованным братьям человеческой семьи. Есть высшие нравственные и умственные слои, куда не должны достигать политические предубеждения и мелочные, хотя часто и неистовые, страсти семейных междоусобий: тут не существуют условные перегородки приходских национальностей. От них на земле душно: выше воздух свежее, чище и успокоительнее. Мы пользуемся повсеместными плодами земного шара, не справляясь, какою почвою они были возвращены, дружественной ли нам или неприязненной. Так должно обращаться и с плодами умственной почвы. Политика — сила обыкновенно разъединяющая; поэзия должна быть всегда примиряющей и скрепляющей силой. Политические предубеждения, политические злопамятства и сочувствия Мицкевича умерли с ним: нам до них дела нет. Но то, что создано внутренним духом и дарованием поэта, переживает попытки односторонней и тревожной деятельности Мицкевича-эмигранта.

Мицкевич, как Байрон, как Пушкин, не мог быть действующим политическим лицом. Он был и выше и ниже этой роли. Каждому дана своя доля. Конечно, подобные натуры могут, как видели мы в Байроне, принести себя на жертву идее или служению предназначенной себе цели. Подобные натуры по своей раздражительной впечатлительности могут увлекаться мнениями и волнением того или другого лагеря. Но тогда из владык на почве им родной становятся они на чужой сцене игралищами и невольниками часто мелких и своекорыстных политических подрядчиков, или импрезарий.

По несчастью, еще в весьма молодых годах Мицкевич был заброшен в ряды оппозиции. В Виленском учебном округе возникли частью ребяческие, частью предосудительные, но во всяком случае прискорбные затеи польской молодежи. Имя Мицкевича было замешано в этой

неурядице. Вероятно, участвовал он в ней более песнями, нежели делом; но и он подвергся строгости суда, в числе других был исключен из учебного заведения и сослан во внутренность России<sup>1</sup>. В мятеже 1830 года он не участвовал. Но почти общее польское потрясение было так сильно, что не могло, хотя и задним числом, не отозваться на поэта. К довершению несчастья, попал он потом в Париж и был обхвачен лихорадочною и судорожною жизнью его<sup>2</sup>. Выше умом, нравственностью и честностью своею тех людей, с которыми он силою обстоятельств сблизился, он предался их влиянию. В нормальном состоянии не мог бы он никогда поделиться с ними сочувствием и удостоить их своим уважением, но он уже не принадлежал себе, а идее. Он создал себе кумиры. Польская эмиграция овладела им; овладел и театральный либерализм, то есть лживый и бесплодный, таких высокопарных пустомелей, каковы Мишле и Кине. Он был чист и добросовестен; но повторим еще: он уже не принадлежал себе. С своим светлым умом не мог он также надеяться на окончательный успех предпринятого дела. Но жребий был брошен и запечатлел его своею роковою необходимостью. Виленский студент был увлекаем все далее и далее по этой покатиистой и безысходной дороге. Вскоре за тем под каким-то словно магнетическим или *спиритическим* наущением Товянского создал он мечтательное и (как ни больно признаться) безобразное учение о каком-то наполеоновском мессианизме. Видеть в Наполеоне I преобразователя и воссоздателя нового человечества есть такое отемнение, что, за исключением политического, никакое другое зелье и обморочение произвести его не могут. Г-жа Сталь сказала: «В царствование Бонапарте одни военные дела были хорошо ведены; все прочее добровольно и умышленно делалось дурно». Впрочем, несмотря на частные блистательные победы, и войны в Испании и России 1812 и следующих годов не были окончательно делом слишком удачным. Доказательством тому служит, между прочим, двукратное бивакирование союзных войск в стенах Парижа. Одним французам, по врожденным в них легкомыслию и хвастливости, простительно поклоняться Вандомской колонне, которая должна бы напоминать им об унижении и разорении Франции, до коих довел ее тот же Наполеон. Во всяком случае, не поляку славословить и баснословить память его. Что же сделал он для Польши? Обратил к ней несколько военных мадригалов в своих прокламациях и реляциях, роздал ей несколько крестов Почетного легиона, купленных ею

потоками польской крови. Вот и все! Но Мицкевич, как заметили мы прежде, был уже омрачен, оморочен. Из всех человеческих пристрастий и увлечений политические наиболее и упорнее слепотствующие. Политика обыкновенно суживает умы; примеры кардинала Ришелье, Вашингтона или Франклина редкие исключения. Не лишним заметить здесь мимоходом, что, несмотря на свой идолопоклоннический наполеонизм, он в 1852 году был исключен президентом республики Людовиком Наполеоном вместе с Мишле и Кине из числа преподавателей во Французской коллегии<sup>3</sup>. Когда загорелась Крымская война, он по поручению французского правительства, а частью, может быть, и польской эмиграции и князя Чарторьского отправился в Константинополь. Тут несчастный и умер от холеры, в одиночестве, вдали от нежно любимого им семейства.

В двадцатых годах был он в Москве и в Петербурге, в роде почетной ссылки. В том и другом городе сблизился он со многими русскими литераторами и радушно принят был в лучшее общество. Были ли у него и тогда потаенные, задние или передовые мысли, решить трудно. Оставался он кровным поляком и тогда, это несомненно; но озлобления в нем не было. В сочувствии же его к некоторым нашим литераторам и другим лицам ручаются неопровергаемые свидетельства: гораздо позднее, в самом разгаре своих политических увлечений, он устно и печатно говорит о некоторых русских писателях с любовью и уважением. И в них оставил он по себе самое дружелюбное впечатление и воспоминание. В прибавлениях к посмертному собранию сочинений Мицкевича, писанных на французском языке, находим мы известие, что московские литераторы дали ему пред выездом из Москвы прощальный обед с поднесением кубка и стихов. На кубке вырезаны имена Баратынского, братьев Петра и Ивана Киреевских, Елагина, Рожалина, Полевого, Шевырева, Соболевского. Тут же рассказывается следующее: Пушкин, встретясь где-то на улице с Мицкевичем, посторонился и сказал: «С дороги двойка, туз идет». На что Мицкевич тут же отвечал: «Козырная двойка туза бьет»<sup>4</sup>.

В тех же прибавлениях находим мы стихотворение Мицкевича, в роде думы пред памятником Петра Великого. Поэт говорит:

«Однажды вечером два юноши укрывались от дождя, рука в руку, под одним плащом. Один из них был паломник, пришедший с Запада, другой — поэт русского народа, славный песнями своими на всем Севере. Знали они друг друга с недавнего времени, но знали коротко, и было

уже несколько дней, что были они друзьями. Их души, возносясь над всеми земными препятствиями, походили на две альпийские скалы-двойчатки, которые хотя силою потока и разделены навеки, но преклоняются друг к другу своими смелыми вершинами, едва внимая ропоту враждебной волны»<sup>5</sup>.

Очевидно, что тут речь идет о Мицкевиче и Пушкине. Далее поэт приписывает Пушкину слова, которых он, без сомнения, не говорил; но это поэтическая и политическая вольность: ни удивиться ей, ни жаловаться на нее нельзя. Впрочем, заметка, что конь под Петром более стал на дыбы, нежели скачет вперед, принадлежит не Мицкевичу и не Пушкину<sup>6</sup>.

## II

Вскоре по кончине Пушкина явилось во французском журнале «Le Globe», 25 мая 1837 года, биографическое и литературное известие о нем за подписью *друг Пушкина* (un ami de Pouschkine). Книга, о которой мы говорили выше, открывает нам, что этот *друг Пушкина* был Мицкевич<sup>7</sup>. Какие ни были бы политические мнения и племенные препирательства, но все же, вероятно, многим будет любопытно и занимательно узнать суждение великого поэта о другом великом поэте. В этом предположении сообщаем русским читателям статью Мицкевича в следующем переводе.

## III

### *Биографическое и литературное известие о Пушкине*

Промежуток времени между 1815 и 1830 был счастливою эпохою для поэтов. После великой войны Европа, усталая от сражений и конгрессов, от военных бюллетеней и протоколов, казалось, опостылела к грустной действительности и возносила взоры свои к тому, что называли миром идеальным. Тогда явился Байрон. Он скоро овладел в областях воображения таким же местом, каким владел император на почве положительной силы. Судьба, которая беспрерывно давала Наполеону предлоги к бесконечным войнам, благоприятствовала Байрону продолжительным миром. Во время поэтического царствования его никакое великое событие не отвлекало внимания Европы, вполне занятой чтением английских произведений.

В эту самую пору молодой русский Александр Пушкин довершал образование свое в Царскосельском лицее. В этом училище, направляемом иностранными методами, юноша не обучался ничему, что могло бы обратиться в пользу народному поэту; напротив, все могло содействовать ему многое забыть: он утрачивал остатки родных преданий; он становился чуждым и нравам и понятиям родным. Царскосельская молодежь нашла, однако ж, противоядие от иноплемennого влияния в чтении поэтических произведений, особенно Жуковского. Сей знаменитый писатель, сперва подражатель немецким поэтам, впоследствии сделавшийся соперником их, пытался запечатлеть русскую поэзию народным характе-

ром: он воспевал русские легенды и отечественные предания. Таким образом, Жуковский начал воспитание Пушкина. Но Байрон слишком рано похитил его из этого хорошего училища и увлек его надолго в фантастические пустыни и пещеры романтизма.

По прочтении байроновского «Корсара» Пушкин почувствовал себя поэтом. Он написал и выдал в свет много произведений, из коих главнейшие «Кавказский пленник» и «Бахчисарайский фонтан». Эти творения возбудили восторг, который выразить было бы трудно: большая часть читателей дивилась новизне содержания и поэтических приемов; женщины любовались глубоко чувствительностью молодого человека и богатством воображения его; литераторы были поражены силою, изящностью и точностью слога. Пушкин был уже признан первым русским писателем. Эти легкие успехи, внушая ему желание приобрести новые как можно скорее, много повредили спокойному развитию дарования его; не должно забывать, что Пушкин был тогда еще отрок, выпранный, величественный (*sublime*), но все еще ребенок: нравственный человек на Севере созревает медленнее, чем на Западе; общественная почва далеко не содержит в себе тех стихий брожения, какими исполнена почва старой Европы; литературная атмосфера, которою на Севере дышишь, менее заряжена электричеством страстей. Таким образом, Пушкин зажил слишком рано; он проматывал (*gaspillait*) дарование свое; он слишком понадеялся на силы свои, преждевременно возлетел в высшие области, где не мог держаться сам собою, и впал в сферу притяжения Байрона. Он кружился около этого светила, как планета, покорная системе его и озаренная его светом. И подлинно, в произведениях первого приема его (*manière*) все байроновское: содержание, характеры, мысли и форма. А между тем Пушкин не столько был подражатель творениям, сколько поработился духом любимого творца своего. Он не был фанатическим байронистом: скорее назовем его байрониаком. Поэтому, если не существовали бы творения английского поэта, Пушкин был бы провозглашен первым поэтом своей эпохи.

Подобный феномен предсказывал на Севере великую литературную революцию: в салонах не было уже много разговора, как о хороших сторонах и о недостатках новой поэтической школы; борьба за классицизм и романтизм готова была вспыхнуть в России, и замечательно, что в то же время затевался политический переворот.

Писатели в России (*hommes de lettres*) образуют род братства, соединенного многими связями. Они почти все или люди зажиточные, или чиновники правительства: пишут они большею частью для того, чтобы приобрести славу или общественное значение. Талант у них не сделался еще товаром, а потому редко встречается между ними ремесленное сотрудничество и вражда интересов. По крайней мере я не видал тому примера.

Не должно при сем забывать, что Мицкевич говорит о литературе двадцатых годов, которую застал он в России.

Таким образом, литераторы любили собираться между собою, видались почти ежедневно и весело проводили время среди обедов, чтений, дружеских бесед и споров. Поэтому заговорщикам, в числе коих были также известные писатели, легко было действовать пропагандою на московских и петербургских приятелей. Пушкин, как и все товарищи его, делал оппозицию в последних годах царствования императора Александра I. Он выпустил несколько эпиграмм против правительства и самого царя; он даже написал оду «К кинжалу». Эти летучие стихотворения разносились в рукописях из Петербурга до Одессы; везде читали их, толковали, любовались ими. Они придали поэту более популярности, чем

последовавшие за тем творения его, которые сравнительно были и значительнее, и превосходнее. Вследствие того император Александр признал нужным выслать Пушкина из столицы и велеть ему жить в провинции. Император Николай отменил строгие меры, принятые в отношении к Пушкину. Он вызвал его к себе, дал ему частную аудиенцию и имел с ним продолжительный разговор. Это было беспримерное событие: ибо дотеле никогда русский царь не разговаривал с человеком, которого во Франции называли бы пролетарием, но который в России гораздо менее, чем пролетарий на Западе; ибо, хотя Пушкин и был благородного происхождения, он не имел никакого чина в административной иерархии.

Здесь Мицкевич увлекается западными воззрениями на Россию. Он мог бы, не изыскивая других примеров, вспомнить о Петре I, которому нередко случалось беседовать с русскими пролетариями.

В сей достопамятной аудиенции император говорил о поэзии с сочувствием. Здесь в первый раз русский государь говорил о литературе с подданным своим.

Мицкевич опять уклоняется от действительности: он забывает Екатерину Великую и отношения императора Александра к Карамзину.

Он ободрял поэта продолжать занятия свои, освободил его от официальной цензуры. Император Николай явил в этом случае редкую проникательность: он умел оценить поэта; он угадал, что по уму своему Пушкин не употребит во зло оказываемой ему доверенности, а по душе своей сохранит признательность за оказанную милость. Либералы, однако же, смотрели с неудовольствием на сближение двух potentatov. Начали обвинять Пушкина в измене делу патриотическому; а как лета и опытность возродили в Пушкине обязанность быть воздержнее в речах своих и осторожнее в действиях, то начали приписывать перемену эту расчетам честолюбия. Около того времени появились «Цыганы», а позднее «Мазепа» (то есть «Полтава»), творения замечательные и которые свидетельствовали о постепенном возвышении таланта Пушкина. Эти две поэмы более окрепли в действительности. Содержание их не изысканно и не многосложно, характеры изображенных лиц лучше постигнуты и обрисованы твердою рукою, слог их освобождается от всякой романтической принужденности. К сожалению, байроновская форма, как доспехи Саула<sup>8</sup>, все еще подавляет и гнетет движения сего молодого Давида; но, однако же, уже очевидно, что он готов сложить с себя эти доспехи.

Если Мицкевич в этом случае прав, то разве в отношении к «Цыганам»: Алеко все еще доводится сродни байроновским героям; но в «Полтаве» Пушкин уже стоял твердою ногою на своей собственной почве.

Эти оттенки, означающие переход художника от одного приема (*manière*) к другому, явствуют очевидно в лучшем, своеобразнейшем и наиболее национальном из творений его — в «Онегине».

Пушкин, создавая свой роман, передавал его публике отдельными главами, как Байрон «Дон Жуана» своего. Сначала он еще подражает



английскому поэту; вскоре пытается идти с помощью одних собственных сил своих; кончает тем, что становится сам оригинален. Разнообразное содержание, лица, выведенные в «Онегине», принадлежат жизни действительной, жизни частной; в них отзываются трагические отголоски и развиваются сцены высокой комедии. Пушкин написал также драму, которую русские ценят высоко и ставят наравне с драмами Шекспира. Я не разделяю их мнения. Объяснение тому повлекло бы меня в рассуждения чересчур пространные; достаточно заметить, что Пушкин был слишком молод для воссоздания исторических личностей. Он сделал опыт драмы, но опыт, который доказывает, до чего мог бы он достигнуть со временем: *et tu Shakespeare eris, si fata sinant*\*.

Драма «Борис Годунов» содержит в себе подробности и даже сцены изумительной красоты. Особенно пролог кажется мне столь самобытен и величествен (*original et grandiose*), что, не обинуясь, признаю его единственным в своем роде. Не могу отказать от удовольствия сказать о нем несколько слов.

Здесь автор обозначает в кратком изложении основу драмы, сцену Пимена и Отрепьева.

Драма, как и все, что Пушкин до того времени издал, не дает меры таланта его. В той эпохе, о которой говорим, он прошел только часть того поприща, на которое был призван: ему было тридцать лет. Те, которые знали его в это время, замечали в нем значительную перемену. Вместо того чтобы с жадностью пожирать романы и заграничные журналы, которые некогда занимали его исключительно, он ныне более любил вслушиваться в рассказы народных былин и песней и углубляться в изучение отечественной истории. Казалось, он окончательно покидал чуждые области и пускал корни в родную почву. Одновременно разговор его, в котором часто прорывались задатки будущих творений его, становился обдуманнее и степеннее (*sérieux*). Он любил обращать рассуждения на высокие вопросы, религиозные и общественные, о существовании коих соотечественники его, казалось, и понятия не имели.

С кем же Пушкин входил в подобные прения, если соотечественники и современники его не были в состоянии понимать эти вопросы? Он мало входил в связь с иностранцами: отношения его с ними были чисто светские.

Очевидно, поддавался он внутреннему преобразованию. Как человек, как художник, он несомненно готов был изменить свою прежнюю постановку или, скорее, найти другую, которая была бы ему исключительно свойственная. Он перестал писать стихи.

Не совсем верно. Он до конца писал отдельные стихотворения, если не такого объема, как прежние поэмы, но зато запечатленные еще более трезвостью и зрелостью.

Он выдал в свет несколько исторических сочинений, которые должно признать одними подготовительными работами. К чему предназначал он себя? Чего хотел? Выставить со временем ученость свою? Нет! Он презирал авторов, не имеющих никакой цели, никакого направления (*tendance*).

\* И ты будешь Шекспиром, если судьба позволит.

## И это едва ли правда.

Он не любил философического скептицизма и художественной бесстрастности Гёте. Что происходило в душе его? Воспринимала ли она безмолвно в себя дуновение этого духа, который животворил создания Манзони, Пеллико и который, кажется, оплодотворяет размышления Томаса Мура, также замолкшего? Или воображение его, может быть, работало над осуществлением в себе мыслей С.-Симона и Фурье? Не знаю: в некоторых беглых стихотворениях его и разговорах мелькали следы этих направлений.

Здесь Мицкевич, как обольщенный ученик Товянского, совершенно удаляется от истины. Он видит не то, что есть, а что под обаянием воззрения ему мерещится. Любознательный ум Пушкина мог быть заинтересован изучением возникающих систем; но так называемые социальные и мистические теории были совершенно чужды и противны натуре его.

Как бы то ни было, я был убежден, что в поэтическом безмолвии его таились счастливые предзнаменования для русской литературы. Я ожидал, что вскоре явится он на сцене человеком новым, в полном могуществе дарования своего, созревшим опытностью, укрепленным в исполнении предначертаний своих. Все знавшие его делили со мною эти желания. Выстрел из пистолета уничтожил все надежды.

Пуля, сразившая Пушкина, нанесла ужасный удар умственной России. Она имеет ныне отличных писателей; ей остаются Жуковский, поэт, исполненный благородства, грации и чувства; Крылов, басенник, богатый изобретением, неподражаемый в выражении, и другие<sup>9</sup>; но никто не заменит Пушкина. Только однажды дается стране воспроизвести человека, который в такой высокой степени соединяет в себе столь различные и, по-видимому, друг друга исключают качества. Пушкин, коего талант поэтический удивлял читателей, увлекал, изумлял слушателей живостью, тонкостью и ясностью ума своего. Он был одарен необыкновенною памятью, суждением верным, вкусом утонченным и превосходным. Когда говорил он о политике внешней и отечественной, можно было думать, что слушаешь человека, заматеревшего в государственных делах и пропитанного ежедневным чтением парламентарных прений. Он нажил себе много врагов эпиграммами и колкими насмешками. Они мстили ему клеветою. Я довольно близко и довольно долго знал русского поэта; находил я в нем характер слишком впечатлительный, а иногда легкомысленный, но всегда искренний, благородный и способный к сердечным излияниям. Погрешности его казались плодами обстоятельств, среди которых он жил; все, что было в нем хорошего, вытекало из сердца. Он умер 38 лет<sup>10</sup>.

## IV

Мы извлекли из статьи Мицкевича все, что прямо относилось до Пушкина, оставив в стороне кое-какие польско-политические пряности, коими автор счел за нужное посыпать статью свою. Во-первых, они не идут к делу; во-вторых, эти вставочные суждения не заключают в себе ничего нового: каждый читатель, немного знако-

мый с стереотипными нареканиями западной печати на Россию, может представить себе оговорки, намеки и приговоры польского эмигранта, который говорит пред французами. Главная занимательность статьи заключалась, по нашему мнению, в суждении великого поэта о великом поэте.

Можно не везде, не всегда и не вполне согласоваться с приговорами польского писателя: иногда он слишком строг, иногда за давностью и, может быть, за недостатком материалов под рукою он иное запомнил, на другое ссылается не с надлежащей точностью; но вообще критика его запечатлена здравою трезвостью, глубоким знанием дела и сочувствием. Он вообще хорошо понял талант Пушкина и верно оценил его. В этой характеристике есть мысль, чувство и суд; в ней слышится голос просвещенного критика и великого художника. Едва ли найдется в русской критике (а о Пушкине много писали и пишут) подобная верная, тонкая и глубокая характеристика поэта нашего.

## V

В дополнение к вышеприведенной статье напечатаны в той же книге другие отзывы о Пушкине, извлеченные из лекций, читанных Мицкевичем во Французской коллегии, когда он занимал в ней кафедру славянских языков. В этих отрывках встречается многое, что уже было сказано в предыдущей статье. Выписываем из них только то, что представляет новые воззрения или добавляет прежние. В этих выписках, и по тем же причинам, будем держаться исключительно литературного содержания, не забегая на политические тропинки, которые увлекают профессора.

## VI

С появлением Пушкина (говорит профессор) в училищах преподавали еще старую литературу, следовали правилам ее в книгах; но публика забывала ее. Пред Пушкиным мало-помалу исчезали Ломоносов, а с ним и Державин, уже престарелый, наделенный почестями и славою. В то же время новые поэты, как Жуковский, человек великого дарования, и Батюшков, уже сходили на вторую ступень. Еще любили стихотворения их, но уже не восторгались ими; восторг был данью одному Пушкину.

Пушкин начал подражанием всему, что застал он в русской поэзии: он писал оды в роде Державина, но превзошел его; как Жуковский, он подражал старым народным песнопениям, но и его превзошел окончательностью формы и особенно же полнотою творчества (*la largeur de ses compositions*). Обыкновенно писатель проходит чрез школы до него существовавшие: он перелетает сферы минувшего, чтобы возвыситься в будущем.

За подражаниями Байрону Пушкин бессознательно подражал также и Вальтеру Скотту. Тогда много толковали о краске местности, об историческом изучении, о необходимости воссоздавать историю в поэзии. Последние творения Пушкина колеблются между двумя этими направлениями: он то Байрон, то Вальтер Скотт. Он еще не Пушкин.

Далее Мицкевич называет «Онегина» оригинальнейшим созданием Пушкина, которое читано будет с удовольствием во всех славянских странах. Он излагает в нескольких строках ход поэмы и говорит:

Пушкин не так плодороден и богат, как Байрон, не возносится так высоко в полете своем, не так глубоко проникает в сердце человеческое, но вообще он правильнее Байрона и тщательнее и отчетливее в форме. Его проза изумительной красоты. Он беспрестанно и неприметно меняет краски и приемы свои. С высоты оды снисходит до эпиграммы, и среди подобного разнообразия встречаешь сцены, достигающие до эпического величия.

В первых главах романа своего Пушкин, вероятно, не имел еще в виду развязки, которою он роман кончает; иначе не мог бы он с такою нежностью, с таким простосердечием и силою изобразить молодых этих людей (Ленский, Ольга и Татьяна) и кончить рассказ свой таким грустным и прозаическим образом.

Вероятно, критик указывает здесь на браки двух сестер. Впрочем, он, кажется, совершенно правильно угадал, что поэт не имел первоначально преднамеренного плана. Он писал «Онегина» под вдохновениями минуты и под наитием впечатлений, следовавших одно за другим. Одна умная женщина, княгиня Голицына, урожденная графиня Шувалова, известная в конце минувшего столетия своею любезностью и французскими стихотворениями, царствовавшая в петербургских и заграничных салонах, сердечно привязалась к Татьяне. Однажды спросила она Пушкина: «Что думаете вы сделать с Татьяною? Умоляю вас, устройте хорошенько участь ее». — «Будьте покойны, княгиня, — отвечал он, смеясь, — выдам ее замуж за генерал-адъютанта». — «Вот и прекрасно, — сказала княгиня. — Благодарю». Легко может быть, что эта шутка порешила судьбу Татьяны и поэмы<sup>11</sup>.

Эта поэма проникнута грустью более глубокою, чем та, которая выражается в поэзии Байрона. Пушкин, начитавшись романами, разделявший чувства друзей своих, молодых, заносчивых (*fougueux*) либералов, ощущает жестокою пустоту обманов: оттого и разочарование его ко всему, что есть великое и прекрасное на земле, и Пушкин, рисуя байрониста, делает свой собственный портрет.

Пушкин был таков. Другая личность романа, молодой русский с распущенными волосами, поклонник Канта и Шиллера, энтузиаст и мечтатель, тоже Пушкин в одной из эпох жизни его. Поэт предсказал собственную участь свою. Пушкин, как и созданный им Владимир, погиб на поединке вслед за незначительную ссору.

Замечательно, как, продолжая Онегина и задумав поединком, к которому ссора эта должна была довести. В этой заботе есть в самом деле какое-то тайное предчувствие. С другой стороны, есть в ней и признак подвластности его Байрону. Он боялся, что певец «Дон Жуана» упредит его и внесет поединок в поэму свою. Пушкин с лихорадочным смущением выжидал появления новых песней, чтобы искать в них оправдания или опровержения страха своего. Он говорил, что после Байрона никак не осмелится вывести в бой противников. Наконец, убедившись, что в «Дон Жуане» поединка нет, он зарядил два пистолета и вручил их сегодня двум врагам, вчера еще двум приятелям. Заботы поэта не пропали. Поединок в поэме его — картина в высшей степени художественная; смерть Ленского, все, что поэт говорит при этом, может быть, в своем роде лучшие и трогательнейшие из стихов Пушкина. Правда и то, что Ленский только смертью своею и возбуждает сердечное сочувствие к себе (в чем, вопреки указаниям Мицкевича, вовсе не сходится он с Пушкиным). Когда Пушкин читал еще неизданную тогда главу поэмы своей, при стихе:

Друзья мои, вам жаль поэта<sup>12</sup> —

один из приятелей его сказал: «Вовсе не жаль!» — «Как так?» — спросил Пушкин. «А потому, — отвечал приятель, — что ты сам вывел Ленского более смешным, чем привлекательным. В портрете его, тобою нарисованном, встречаются черты и оттенки карикатуры». Пушкин добродушно засмеялся, и смех его был, по-видимому, выражением согласия на сделанное замечание.

Говоря о некоторых отдельных стихотворениях поэта, Мицкевич обращает особенное внимание на известное под заглавием «Пророк». В этом произведении критик видит начало новой эры в жизни Пушкина; но, продолжает он:

Пушкин не имел в себе достаточно силы, чтобы осуществить это предчувствие; недостало смелости, чтобы подчинить внутреннюю жизнь и труды свои этим возвышенным понятиям. Произведение, о котором говорим, блуждает посреди произведений его как нечто совершенно отдельное и поистине превосходное.

Какое понятие имеют славянские поэты о своем призвании и о своих обязанностях? Судя искусство и художественные создания, они принимают за одно форму и внутренность содержания, речь и то, что она выражает, и все заключается у них в одном слове: действие. Таким образом, по мнению Богдана Залеского, не желание воспеть подвиги каких-нибудь вождей, не жажда популярности, не любовь к искусству могут образовать поэта: нужно быть предызбранным, нужно тайными

узами сопрягаться с страной, которую воспоешь, а воспевать — не что иное, как поведать Божию мысль, которая почивает на сей стране и на народе, к которому поэт принадлежит.

По мнению критика, после «Пророка» начинается нравственное падение поэта. Он, бесспорно, остался художником неподражаемым; но с тех пор не создал он ничего подобного произведению, о котором речь идет: кажется даже, он возвращается вспять<sup>13</sup>.

Видимо, Мицкевичу все хотелось бы завербовать Пушкина под хоругвь политического мистицизма, которому он сам предался с таким увлечением. Мудрено понять, как поэт в душе и во всех явлениях жизни своей, каковым был польский поэт, мог придавать какому-нибудь отдельному стихотворению глубокое значение переворота и нового преобразования в общем и основном характере поэта. Неужели самому Мицкевичу не случилось быть под наитием всеобладающего, но перелетного вдохновения? В жизни поэта день на день, минута на минуту не приходится. Одни мелкие умы и тупоглазые критики, прикрепляясь к какой-нибудь частности, подводят ее под общий знаменатель. Далеко не таковы были ум и глаза Мицкевича. Но дух системы, но политическое настроение отуманивают и самые светлые умы, и самое проницательное зрение. Односторонность, пристрастие, свойственные людям, закабалившим себя одной мысли или одному расколу, лишают их, разумеется, и свободы в воззрении на людей и вещи. Одержимые недугом исключительной мысли, они все и всех к ней пригибают: случайности отдельные, переходчивые явления сейчас втискивают они в свою готовую раму. Явления к ней не подходят? Рама то слишком узка, то слишком велика? Они укорачивают события или вытягивают их донельзя. Им горя нет: была бы рама цела и ненарушимо уважена, а события и истина тут дело второстепенное. Суеверно себя обманывая, эти люди бессознательно обманывают и других.

В доказательство мистического расположения, которым был захвачен дух Мицкевича, приведем еще мысли его о трагедии «Борис Годунов».

Драма есть сильнейшее художественное осуществление поэзии. Много трудности в создании славянской драмы. Подобная драма должна быть лирическая: она должна напоминать нам прекрасные напевы народных песней; ей должно переносить нас в мир *сверхъестественный* (?). Драма Пушкина в составе своем<sup>14</sup> — подражание Шиллеру и Шекспиру. Но он худо сделал, что ограничил ее действие на земле. В прологе своем дает он нам предчувствовать мир *сверхъестественный*, но вскоре совершенно забывает о нем, и драма просто кончается политической интригой.

Мицкевич цитует еще и оду Пушкина на смерть Наполеона и приводит последнюю строфу:

Да будет омрачен позором  
 Тот малодушный, кто в сей день  
 Безумным возмутит укором  
 Его развенчанную тень!  
 Хвала!.. Он русскому народу  
 Высокий жребий указал  
 И миру вечную свободу  
 Из мрака ссылки завещал<sup>15</sup>

И здесь, говорит он, выказывается чувство русской национальности, воспоминание поэзии державинской. Видишь также и предчувствие будущего в сознании, что Наполеон был пророком свободы.

Если и был он пророком свободы, то кстати сказать здесь: никто не пророк в своем отечестве.

В другом месте говорит он: чтобы дать себе явственное понятие о ходе поэтов и литератур у славянских племен, должно представить себе путников, которые с разных точек горизонта направляются бессознательно к одному месту общего соединения. Все, без изъятия, покидают минувшее, кто с сожалением, кто с отчаянием. Но как каждый возносится в области более возвышенные, то и предвидишь уже тот день, в который сойдутся они. Мы уже заметили, что критическая минута, которая отрывает минувшее от грядущего, зачинается с Байрона. Последнее слово польского поэта, который ближе всех следует за лордом Байроном, есть также вопль отчаяния: Мальчевский, не находя на земле ничего достойного искания и желания, обнажает саблю свою против всего общества, потому что он утратил всю надежду на осуществление высоких чувств и высоких помыслов. Он хочет умереть, потому что ничему возвышенному не суждено успеть на земле. Пушкин расточается в непрерывных вариациях на эту же тему; он плачет, потому что юность обманула его, потому что пережил он все сновидения своих прекрасных дней, сновидение любви, сновидение свободы, сновидение славы; и он наконец восклицает: «Цели нет передо мною»<sup>16</sup>.

К чему же тогда писать ему? Увы! К тому, чтобы бросить какой-нибудь блеск, несколько цветков на могилу свою, чтобы оставить воспоминание о грустной жизни своей. Таковы чувства, им выраженные. Жизнь ускользала от поэта: у него уже не было будущего. Польские поэты за песнями о минувшем находят в стремлении религиозном, а особенно политическом, новую сферу действия. В Пушкине находишь одно предчувствие того<sup>17</sup>.

Со смертью Пушкина Мицкевич хоронит и всю русскую литературу. Приговор слишком безусловный и самовластный. Литература может на время онеметь; но она не умирает, пока жив народ. Как ни будь могуществен и плодоносен временный представитель ее, ныне умолкнувший, из самого этого глубокого молчания рано или поздно возникнет преемник, который отзовется на прерванную речь. Вот подлинные слова польского критика:

Такова была кончина русской литературы, образовавшейся под влиянием Петра Великого. Конечно, остаются еще великие дарования, пережившие Пушкина; но на деле русская литература с ним кончилась. Он умер, сей человек, столь ненавидимый и преследуемый всеми

партиями; он оставил им свободное место. Кто же замснил его на этом упрямом месте? Писатели с умом? Пушкин не был ли всех их умнее? Певцы сонетов, баллад? Пушкин далеко превзошел их. На какой новый путь попытаются вступить они? С понятиями, которые они имеют, им невозможно подвинуться на шаг вперед: русская литература на долгое время заторможена<sup>18</sup>.

Как бы то ни было, тут есть доля и правды и доля неумеренности. К тому же опять должно помнить, что все сказанное выше относится к эпохе, которая отделена от нашей несколькими десятками годов. Иное могло с того времени измениться и действительно изменилось, но в каком отношении, вот вопрос. Любопытно угадать, какое было бы мнение Мицкевича о русской литературе, если бы дожил он до настоящего возраста ее. Едва ли нашел бы он в этот период времени законного преемника даже в самом Лермонтове. Едва ли он открыл бы залогов и признаки новой жизни в той литературе, которую он восхищался в Пушкине, и особенно в той, которую он ожидал и требовал от возрожденного Пушкина. Он, без сомнения, нашел бы большое развитие и движение и даже некоторую роскошь в литературе, так сказать, *деловой*, реальной, положительной. Его удивило бы множество разродившихся литератур, как-то: литература финансовая, литература хозяйственная, железнодорожная, полицейская, сыскная, адвокатурная, литература земская, сословная, волостная, биржевая; всех подростков в этом новом литературном питомнике не исчислишь. Нет сомнения, что эта письменная деятельность, которая обхватила наши журналы и печать, часто, если не всегда, приносит пользу свою общественному делу: она пополняет значительные пробелы, существовавшие до того в печати нашей. Но все же это не литература, которую Мицкевич преподавал с кафедры и которой служил в творениях своих; не литература пушкинская, даже не гоголевская, не литература в том значении, в котором она от первых образцов греков и римлян перешла ко всем образованным народам. Еще более: такую ли поденную литературу может довольствоваться общество, которое стремится облагородить, возвысить нравственные силы свои, воспитать и просветить понятия и чувства? Без этой духовной пищи на потребу умственным вожделениям и жадности, без полного удовлетворения этим также насущным потребностям образованного общества недостаточны и ненадежны самые положительные и материальные успехи, которыми настоящее время может до некоторой степени гордиться.



Прежде у нас много жаловались, и часто не без причины, на цензуру. Теперь есть еще цензора, но цензуры уже нет или почти нет. Литература имела свое 19 февраля: перья освобождены от цензурного крепостничества<sup>19</sup>. Правда, они по старому порядку платят еще иногда некоторые повинности, но это исключения; а в сущности право свободы провозглашено, и на деле им пользуются. Но отвечает ли эта польза надеждам, которые многие питали? Что окончательно выиграла литература, в первобытном значении своем, от простора, который расчищен пред нею? Многие думали, что сними ограду — новые деятели, новые гении и плодovitые таланты так и нахлынут на отверстое ристалище. Едва ли оно так сбылось. Бесцензурная эпоха пока молчит и пробавляется старыми запасами. Ныне известнейшие и любимейшие публикою писатели все еще лица давно нам знакомые. Не называю их: они сами себя называют.

Молчу, но не молчат журналы и весь свет<sup>20</sup>.

Дело в том, что они принадлежат цензурной эпохе и что им не приходится посторониться пред новым наплывом. Но вот что всего страннее: и лучшие произведения этих вчерашних писателей принадлежат не нынешней поре, а вчерашней. Дети их, рожденные от гражданского брака, далеко отстали от прежних детей их, богобоязненно записанных в метрику цензурного прихода. Как объяснить это физиологическое явление? Может быть, объяснения и найдутся; но на них нужна книга: отдельной статьи не станет.

## VII

Окончив обозрение отзывов польского поэта о Пушкине, мы, расставаясь с Мицкевичем, хотим посвятить ему еще несколько слов сочувственных и добропамятных. Когда явился он в Москву высланным из Литвы вследствие беспорядков, возникших в Виленском учебном округе, тогда польского вопроса еще не было. То время не было столь вопросительно, как наше. Возбуждение вопросов рождает часто затруднительность и многосложность их. Польшу тогда знали мало, мало говорили о ней. Это было не хорошо; теперь журнальные публицисты знают ее не лучше, но говорят о ней больше; и это худо. Польская литература оставалась в совершенном неведении. Некоторые государственные люди и другие мыслители сетовали о привилегированном положении, в котором

император Александр воссоздал Царство Польское. Но и тут племенной вражды не было: было одно политическое соображение с точки русского государственного воззрения. Впрочем, не должно забывать, в ограждение памяти императора, что это привилегированное положение Польши было в видах Александра только временное. В обширных замыслах его (сбыточны ли и полезны ли были бы они, это другой вопрос, суждению нашему не подлежащий) Царство Польское как часть одного целого должно было войти в общую систему государственного преобразования, которое государь готовил. Как бы то ни было, Мицкевич радушно принят был Москвою. Она видела в нем подпавшего действию административной меры, но мало заботилась о поводе, вызвавшем эту меру. Мало ли было и по другим учебным округам примеров подобного распоряжения со стороны начальства? Все в Мицкевиче возбуждало и привлекало сочувствие к нему. Он был очень умен, благовоспитан, одушевителен в разговорах, обхождения утонченно вежливого. Держался он просто, то есть благородно и благоразумно, не корчил из себя политической жертвы; не было в нем и признаков ни заносчивости, ни обрядной уничижительности, которые встречаются (и часто в совокупности) у некоторых поляков. При оттенке меланхолического выражения в лице, он был веселого склада, остроумен, скор на меткие и удачные слова. Говорил он по-французски не только свободно, но изящно и с примесью иноплеменной поэтической оригинальности, которая оживляла и ярко расцвечивала речь его. По-русски говорил он тоже хорошо, а потому мог он скоро сблизиться с разными слоями общества. Он был везде у места: и в кабинете ученого и писателя, и в салоне умной женщины, и за веселым приятельским обедом. Поэту, то есть степени и могуществу дарования его, верили пока на слово и понаслышке; только весьма немногие знакомые с польским языком могли оценить Мицкевича-поэта, но все оценили и полюбили Мицкевича-человека. Между тем он в тишине продолжал свои поэтические занятия. Замечательно, что многие из них напечатаны в Москве и в Петербурге и, разумеется, с одобрением цензуры. Только позднее и задним числом, то есть после польского восстания 1830 года, подверглись они новому цензорному допросу и следствию. Князь Паскевич и граф Чернышов (военный министр) входили по этому предмету в сношение с министерством народного просвещения. За этим сочинения Мицкевича и едва ли не самое имя его подпали *индексу*, то есть

безусловному запрету. Особенно же заподозрена была поэма его «Валленрод», напечатанная в России и отрывки коей показывались в переводе в наших журналах<sup>21</sup>. Была ли она действительно написана не под одним поэтическим, но и под макиавеллическим вдохновением, решить не беремся. Но что в ней многое могло быть истолковано в таком смысле, это несомненно. По крайней мере последовавшие события придали ей этот смысл.

Мы упомянули о находчивости и меткости слова у Мицкévича. Вот пример тому, один из многих. В Москве кто-то заспорил с ним о правописании польской фамилии *Мокроновски*. Москвич утверждал, что она пишется *Мокроноски*. Мицкевич настаивал, и совершенно правильно, что пишется *Mokronowski*. «Разве,—прибавил он,— что эта фамилия была окорочена вследствие нового раздробления Польши, о котором я еще не слыхал».

При воспоминаниях о пребывании польского поэта в Москве приходит на ум довольно странное сближение. Замечательно, что упрек его Пушкину, что он слишком подчинял себя Байрону, был гораздо прежде обращен к нему самому. Еще в 1828 году умный и, к сожалению и к стыду нынешнего поэтического чувства, мало оцененный Баратынский говорит в прекрасных стихах:

Не подражай: своеобразен гений  
И собственным величием велик...  
С Израилем певцу один закон:  
Да не творит себе кумира он!  
Когда тебя, Мицкевич вдохновенный,  
Я застаю у Байроновых ног,  
Я думаю: поклонник униженный!  
Встань, встань и вспомни: сам ты бог!<sup>22</sup>

Мицкевич был не только великий поэт, но и великий импровизатор. Хотя эти два дарования должны, по видимому, быть в близком родстве, но на деле это не так. Импровизированная, устная поэзия и поэзия писанная и обдуманная не одно и то же. Он был исключением из этого правила. Польский язык не имеет свойств, певучести, живописности итальянского; тем более импровизация его была новая победа, победа над трудностью и неподатливостью подобной задачи. Импровизированный стих его, свободно и стремительно, вырывался из уст его звучным и блестящим потоком. В импровизации его были мысль, чувство, картины и в высшей степени поэтические выражения. Можно было думать, что он вдохновенно читает наизусть поэму, им уже написанную. Для русских приятелей своих, не знавших по-польски, он иногда импровизиро-

вал по-французски, разумеется, прозою, на заданную тему. Помню одну. Из свернутых бумажек, на коих записаны были предлагаемые задачи, жребий пал на тему, в то время и поэтическую и современную: приплытие Черным морем к одесскому берегу тела Константинопольского православного патриарха, убитого турецкой чернью<sup>23</sup>. Поэт на несколько минут, так сказать, уединился во внутреннем святилище своем. Вскоре выступил он с лицом, озаренным пламенем вдохновения: было в нем что-то тревожное и прорицательное. Слушатели в благоговейном молчании были также поэтически настроены. Чуждый ему язык, проза, более отрезвляющая, нежели упоющая мысль и воображение, не могли ни подавить, ни остудить порыва его. Импровизация была блестящая и великолепная. Жаль, что не было тут стенографа. Действие ее еще памятно; но, за неимением положительных следов, впечатления не передаваемы. Жуковский и Пушкин, глубоко потрясенные этим огнедышащим извержением поэзии, были в восторге.

В Москве дом княгини Зинаиды Волконской был изящным сборным местом всех замечательных и отборных личностей современного общества. Тут соединялись представители большого света, сановники и красавицы, молодежь и возраст зрелый, люди умственного труда, профессора, писатели, журналисты, поэты, художники. Все в этом доме носило отпечаток служения искусству и мысли<sup>24</sup>. Бывали в нем чтения, концерты, дилетантами и любительницами представления итальянских опер. Посреди артистов и во главе их стояла сама хозяйка дома. Слышавшим ее нельзя было забыть впечатления, которые производила она своим полным и звучным контральто и одушевленную игрою в роли Танкреда, опере Россини. Помнится и слышится еще, как она, в присутствии Пушкина и в первый день знакомства с ним, пропела элегию его, положенную на музыку Геништою:

Погасло дневное светило,  
На море синее вечерний пал туман.

Пушкин был живо тронут этим обольщением тонкого и художественного кокетства. По обыкновению, краска вспыхивала в лице его. В нем этот детский и женский признак сильной впечатлительности был несомненное выражение внутреннего смущения, радости, досады, всякого потрясающего ощущения. Нечего и говорить, что Мицкевич с самого приезда в Москву был усердным посетителем и в числе любимейших и почетнейших гостей в доме

княгини Волконской. Он посвятил ей стихотворение, известное под именем «Pokój Grecki» («Греческая комната»). При доставлении ей своих «Крымских сонетов» приложил он польские стихи, которые сам перевел он для нее французскою прозою. Вот перевод с автографического перевода:

«О поэзия, ты не искусство живописи: когда хочу живописать, для чего мысли мои не иначе могут проявиться, как сквозь слова чужеземной речи, подобно узникам, которые смотрят из-за железной решетки, скрывающей и искажающей их черты? О поэзия, ты не искусство петь: ибо чувства мои не имеют голоса, который может быть понятен; они подобны подземным потокам, которых шум никому не слышен. О поэзия неблагодарная! Ты даже не искусство писать: я написал стихи, а подношу ей одни листки. Она увидит в них знаки непостижимые, ноты музыки, которая, увы! никогда исполнена не будет»<sup>25</sup>

Воспоминая всю обстановку того времени, все это движение мыслей и чувств, кажется, переносишься не в действительное минувшее, а в какую-то баснословную эпоху. Личности, присутствием своим озарявшие этот мир, исчезли, жизнь утратила поэтическое зарево, которым она тогда отвечивалась; улетучились, выдохлись благоухания, которыми был пропитан воздух, окружавший эти ясные и обаятельные дни. Одна ли старость вырывает из груди эти сетования о минувшем, почти похожие на досадливые порицания настоящего? Надеюсь, что нет. Не углубляюсь далее, предоставляя каждому делать свои заключения.

После многолетней разлуки и даже перерыва письменных сношений мы встретились с Мицкевичем в Париже и сошлись, разумеется, старыми приятелями<sup>26</sup>. Мимо и вне всяких политических событий, которые изменили и перевернули многое, я не видал в Мицкевиче поляка; он не видал во мне москаля, а разве просто москвича. С этим именем связывались и для него и для меня самые сердечные и дружельюбные воспоминания. Он показался мне много и преждевременно постаревшим. Волнения, скорбь вырезали следы свои на лице, уже и прежде осененном меланхолическим выражением. Мне показалось, что он во многом разочаровался в отношении к Франции и к политическим надеждам своим. Может быть, ошибаюсь; но думаю, что положение эмигранта внутренне тяготило его. Мы в разговорах своих не касались этих щекотливых вопросов, но и в самом молчании люди близкие угадывают друг друга и безмолвно перекликаются. Особенно же при второй встрече с ним в Париже (1850)<sup>27</sup> заметны были мне в нем еще более признаки

разочарования и нравственной усталости. Они являлись в нем и прежде. Вот что в 1832 году писал он Лелевелю, одному из пламеннейших и глубоко убежденных деятелей польского восстания:

«Между нашими одни доверяют французскому правительству, другие — людям движения. Я смотрю на эти две партии, как на сволочь (gamassis) эгоистов, утративших чувство нравственное. Французы — афиняне времен Демосфена; они будут шуметь, менять предводителей и ораторов, но они неизлечимы, потому что у них рак (cancer) в сердце»<sup>28</sup>.

Вот еще две выписки из писем его; в них особенно выражается благородный и добросовестный его характер. В 1840 году учреждена была в Париже кафедра славянской литературы. Ее предложили Мицкевичу; он тогда был в Лозанне преподавателем латинской словесности, любимый учениками и уважаемый обществом.

«Сожалею, — пишет он, — о Лозанне, где имел кусок хлеба и тихую жизнь. Грустно мне будет расстаться с местом, которое занял я без всякого покровительства, кроме покровительства Бога. Люди здесь добрые; но я соглашусь на славянскую кафедру из опасения, что какой-нибудь немец влезет на нее и станет лаять против нас»<sup>29</sup>.

Около 1844 года отношения Мицкевича к французскому правительству изменяются. Министерство находит, что он уклоняется от программы преподавания. Кафедра его из первых была закрыта; потом, кажется, кафедры Мишле и Кине. Вот что он по этому поводу пишет брату своему:

«Положение мое затруднительно и в отношении к французам, и в отношении к соотечественникам моим. Я мог бы спокойно и выгодно погрязнуть, ибо скажу тебе (одному тебе), что министерство готово дать мне прибавочное содержание, если соглашусь не служить долее делу, которому я посвятил себя; но та же совесть, которая не позволяла мне искать общественных успехов и выгод в России и Швейцарии, не дает мне возможности остановиться на дороге. Я убежден, что, если буду верен голосу совести, со мною ничего худого не будет, хотя грядущее усеяно опасностями. Брат! Мы устарели. Жизнь проскользнула как мгновение; но будем ответствовать только за то, как употребили ее во благо ближнего и отечества»<sup>30</sup>.

Из этих последних выписок видно, что если Мицкевич и увлекся политическим движением и был политическим противником России, но не был он революционером: нет, он остался навсегда чистым и нравственным человеком и сочувственною личностью.